

Алексей БОСЕНКО

НАЧАЛА СОВРЕМЕННОСТИ

Современность далека от себя как никогда. Она и есть как никогда.

Никогда прежде.

Никогда потом.

Никогда ныне.

Изнывшее «не...», которому нечего больше отрицать. Кроме расстояния до оставленного начала и расставания до конца. «Ны? Не?» Отрицание «-» — распорка-прочерк между брошенным началом и неизбежностью конца. Распорка. Вот и Всё Что Есть.

Этим со-временность отодвигает время в безнадежность. Сдвиг. От-сторонение. Время околевает около, на околице живого бытия ничто. Время оставлено на потом. Остановлено на «этом». Опережая «прежде». Прежде прежнего, оставленного на потом. И это «потом» всегда «не-сейчас». Оно прошлое еще до сбывания. Ненастоящее. Не настоящее. Прошлое, прикидывающееся будущим. Замершее ожидание, свою несбыточность полагающее как цель, питающееся скудными обещаниями телеологии отсутствия. Со-временность, со-стояние с будущим непреходящим, не-настоящим и прошлым не переходящим, не отстающим.

Любое отсутствие становится поводом времени восстать из лишенности во всей своей неповторимой близости и онтологической достоверности, нехотя давая волю чувствам, противными ему по природе. Времени хочется избавиться от чувства времени.

Чувства тянутся к вечности, даже в непрекращающейся ненависти к чему бы то ни было, будь то современность, сами чувство или время. Чувства противу собственной природы вынуждены (внуждены, принуждены необходимостью) быть-как-ни-в-чем-не бывало. Время прорывается либо как цель, надежда, идеал, все несбыточное и безнадежное, навсегда отброшенное в будущее, либо кажется уходящим на закат, как нечто невозвратное и покидающее, скрывающе-

еся за горизонтом, за кромкой смерти кончающимся временем в непроглядности, тревоге и в печали, затянувшей чужие дали.

Уже за кромкой моря кливера!
Так горизонт ушедшего скрывает.
Не говори у смертного одра:
«Кончается». Скажи, что отплывает.

О море, непроглядное вдали,
Напоминай, чтоб верили и ждали!
В круговороте смерти и земли
Душа и парус выплывут из дали.

Фернандо Пессоа

Цель, надежда, идеал, мечта сокращаются, скукоживаясь по мере приближения, наступая и мелея, приближаясь к метафизическому концу — все меньше этого «еще-не-все», как выражения неполноты мира, все огромное предстояние, преддверие, нежели со-стояния, тем ничтожнее полнота совершающегося, ощущающегося как сбывшееся несбывшееся.

Все, некогда ожидающееся — в прошлом, за которым не угнаться. А если угнаться, двигаясь вслед за солнцем со скоростью вращения Земли, «уплывающей из под ног», пытаясь остановить мгновение, то лучше подняться и быть напротив солнца, в упор наблюдая вечный его закат, который восход. Для Вселенной конец временен, а для тебя навсегда.

Нет ничего более далекого, чем настоящее, позволяющее взглянуть на время со стороны, остраненно и безучастно наблюдать, как оно чахнет, увядает в переживании, как сеется рассеянно временами, застилая просторы истории, искусства и обыденной жизни, наводя невыносимую тоску.

Одно единственное одиночество, загнанное в себя сторонами. Стиснутое со всех сторон оставленностью, брошенностью. Но оно не потусторонне. Одиночество — та сторона где... Сторона как граница. Оно не игровая приставка к отчужденному миру, где удерживается в себе бесконечным «нет», тотальным отказом. Оно — предел бесконечности, итог и исток всего, предел всеобщего, которое предел одного, скованного в единство принудительным отсутствием. Убитое усилие. Ничего кроме... Кромешность.

Случайность будто предел всему, достигнутое и вожденное здесь-сейчас. Угроза предела, но не наступающего, а отступающего в беспредельность. Сотворенная единичность никогда до и никогда после.

Разрыв, провал, рассечение, через рану которого пытаются отдышаться и захлебываются нетостью. Не-точность, от метафизической точки отстороняющаяся. Предел бесконечного отсутствия и потому по своему — все время, а по

другому-чужому отказ от него. Свернутое в точку, без протяжения. Оно потеряло ближайшее «прежде» и дальнейшее «потом», но и «здесь и сейчас» тоже. Оно «тоже» и «то же», не существующее без внешней необходимости, ставящей перед выбором быть или не быть, но оставляющее в ни в том, ни в другом, как в «ни то, ни сё...», всецело втискиваясь в брошенное пространство нейтральной полосы и ничейной земли между случайностью и необходимостью, между пространством и временем, между я и не-я, и т. д. в любой contradикции, когда вместо диалектического единого образуются две различные сущности, скажем время само по себе и пространство само по себе, находящиеся в иррелевантности.

Парадокс в том, что этот вихрь, черная дыра времени, как полная лишенность (ничего лишнего) чего бы то ни было, представляет сплошность пустоты и потому умножается чистым количеством. Оно больше не единство прерывности-непрерывности. Утрачивая сплошность и связность, снимающиеся в «прежде» и «было» время теперь сплошь перерыв постепенности, но отторгнутой в чистом отрицании, как таковом, времени не осталось — только его механический субстрат.

Условно говоря — зряшное отрицание, повторяющееся без снятия и не имеющего последовательности (С точки зрения формальной логики — такое не может быть, но время теперь — теперь-время, сорванное с «места» потеряло способность быть, ему не место, оно не существует. Это своего рода диалектика, утратившая основания или рассеченная пополам, метафизической, внезапной, не объективной смертью прерванного развития. Апофатическое единое отрицания не знающего себестождественности и самосознания — совершенная ущербность ущербности, чистая лишенность и как таковое — время данное враз, сразу и вдруг.)

Что-то вроде практического разрешения проблемы, которой мучались отцы церкви: Если Бог абсолютен, то он вечен и бесконечен. Все возможные его дальнейшие проявления не вероятны и невозможны. Он не имеет истории и не развивается, поскольку, будучи вечным и бесконечным настолько, что не знает пределов и границ, не может выйти из себя никоим образом, и даже являться в образе, как чистая сущность, которая для себя непостижима. Другого не дано. Откуда берется время? В котором разворачивается акт творения из ничего? Однако, коль скоро это так, то бог (с маленькой буквы, поскольку имени не имеет) ущербен на целое пространство и время. Этот изъян, лишенность так же вечен и бесконечен, как сам бог и противодействует абсолютным и безусловным образом самому богу, отпадая от него. Творит не Дух, а отсутствие духа. Бог обретает предел и познание себя в ничто. Он покинут. Ничто из которого творится мир является материей. Ничто и материя одно и то же. Ничто источ-

ник времени. Чистое отрицание. Без отрешения. Стремление без экстаза и дальнейшего.

В случае, если мы обходимся без акта творения или прямо экстраполируем (полируем) эту богословскую идею на любую абсолютность, будь то красота, становление, любое творчество, ситуация не меняется. Вопрос начала остается неизменным и совпадает с концом. Начало не возможно и потому начинается с того, что не есть.

Но то же самое в абсолютной случайности, которая с Богом совпадает как нетость, покинутость, оставленность и бесконечность одиночества. Одна и та же апофатичность. Случайность одиночества меняется с богом не ролями — сущностями. Одиночество абсолютно. Оно — «вот и всё». Вот. И всё. Сущее настоящее. Не-сущее.

Настоящее всегда не подлинное. Его данность иллюзорна и оно противостоит себе во всех противоречиях истинных и мнимых. Оно источник и конец времени, противоположность материи и духа, необходимости и случайности и т. д. Это не разные противоречия, а одно единое, одна сущность, а не множество, суетой порожденных. Предел как единственно достоверное ничто, разрывающее прошлое и будущее и связующее их. Равновесие между ударами истекшей, (стекшей в ничто) бесконечности и будущей. Перерыв постепенности. Разрыв. Бегущая трещина.

При этом одиночество не точка, оно имеет протяжение. Оно протяжно до бесконечности (однако не имеет длины), как лейбницевский складывающийся бесчисленно лист (квадратное одиночество устремляемое в себя словно к единству мира, в его дословной безусловности), стремящийся к исчезновению, но не достигающий его. Оно стремится к основанию, но обнаруживает и утверждает только себя и потому существует зазором между основанием, покинутым некогда, бесконечным «минимумом максимума» (Николай Кузанский): это — прошлое, и существующим-покидающим, устремленным к себе — в будущее, стремящимся к настоящему, обращенному в себя, как в веру.

Антиномия актуальной и потенциальной бесконечности полностью исчерпывается провалом, самоосуществляющимся отношением, чистой формой, превращенной и живущей превращением (гусеница жаждущая полета, но никогда не становящаяся бабочкой). Ни потенциальной, ни актуальной, ни бесконечности.

Это не экстаз: ни Единого, Красота которого, по Плотину — в экстатической первопотенции сущего, ни экстатирование за пределы отчаявшегося единственного-принудительного, в который загнан человек обстоятельствами, где ни единого человека, но множество одиноких индивидов, отчужденных в гипертрофированные (гиперантропоморфные) качества во-вне. В представлении, лишенного воображения и образа.

Это экстатирование, вбрасывание, падение, низвержение в себя, которого нет. Жажда, умоисступленного желанья рабства, чтобы быть зависимым, нужным хоть кому ни будь в абсолютном безразличии — никакой диалектики пресветлого Мрака и темнейшего Света (*Lumen Obscurum* — света, перевернутого, вывернутого наизнанку), — самоубийство, переход не в иное, а в обыденную смерть, обращенную в «обратно» как в неразличенное.

И только бесконечность в себе, которая на короткое время остается переходом, самовоспроизведением отодвигая метафизическую границу на неопределенное время, позволяет опять же на некоторое опаздывающее, обгоняемое, наступающее вослед время совпадать этому процессу в случайном с экстазом абсолютной свободы, хотя бы в образе исступления. Но даже в розности чувств это не одинаково, поскольку хотя и в случайности и в необходимости одно и то же чувство разнится только по предмету, и иных качеств не имеет, однако в случайности чувство стремится избыть себя в ощущении и дальше, стремясь к бесчеловечному насекомому бытию, тогда как в свободе чувство обретает с уходом в абсолютное ничто онтологическую, бытийную сущность становления [1].

Преобразование, в отличие от бесконечности становления, как единства бытия и ничто является переходом от сих до сих, от одной наличной формы к другой, от одного, вернее, оного наличного бытия к своему-другому, смысл которого в отчуждаемости, отрешенности. Оно — становление в одной и той же определенности, обставленная пределами переходов во всех возможных качествах, но сходящимися в одном и том же. Все изменения, движения, исчезновения, возникновения, проявления, покидания, расставания, прощания — суть становление как оно есть — «есть» становления, загнанное во временные формы, чуждые есть и не есть, «бытию ничто» «истинного становления», обнимающего в единстве вечность и бесконечность, превышающего это единство и не относящегося к нему. Ограниченное становление — является формой наличного бытия, предел которого прекрасное, покушающееся на абсолютную красоту, не снисходящую до основания, но которую пытаются разрушить до основания, пытаясь всеобщему противопоставить столь же абсолютную случайность, хотя и оглядывающуюся на внешнюю необходимость.

Становление, ограниченное таким образом само, как то же самое становление воспроизводит себя в одной и той же форме покоя, в себестождественности тем самым становится формой наличного бытия или переходом, обретая начало и конец в каждой точке своего существования. Переход — всегда в прошлом. Как перерыв постепенности настоящее отвечает временем (временами, временам) рождающимся отсутствием, при этом время двоятся (множится, дезинтегрируется, живет распадом), поскольку как одно и то же, то же и иное

порождается переходом наличной формой бытия и наличной же формой ничто, и «третьим» временем. Переход их проходящее отношение чистой формой, рождающимся как «ничто не вечно». (Я не решил проблемы становления, но зато точно знаю отчего плакал Гераклит Эфесский.)

Одновременность «трех» времен исчезает в основании, вызывая избыточное восхождение-изгнание, нуждающееся в происхождении со-временности. Время отторгается в самостоятельную область, моновремени, без своей противоположности — пространства и рядится в пошлые одежды собственности, одним «костюмом» удерживаясь в принудительном единстве от распада. Одному, единственному «моновремени» противостоит только бесчисленная ограниченность множественности времен, безмерных в своих одномерностях.

Тошнит от одного представления, что возвышенное и воспетое «я, не-я и отношения между ними», совпадающее с прошлым настоящим и будущим есть всего лишь запаздывающее, отстающее от бытия отражение простого процесса разделения труда, которое собственно и является источником рабочего, прибавочного и свободного времени, не времен, а именно времени, построенном на практике «превращения все во все и в сущее настоящее» и в конечном итоге «в то, что нужно человеку» (сейчас правда в то, что чуждо человеку, поскольку процесс отчуждения стал объектом самого себя, то есть нужда стала единственной целью производства). Основания природы времени и сущности человека в этом ускоренном доразвитием-превращением природы в вещь, аккумулярование в ней несоразмерного ей времени и деятельности. Она и является объективированной «первичной памятью» и основанием со-временности любого настоящего, выраженного в превращенном виде отношением Я и Другого, как скрытым проявлением общественного порабощения в обществе «господства-подчинения». «Любой объект свободного произвола, сам лишенный свободы, называется вещью», — кажется, так писал И. Кант. Человек — вещь среди вещей, он обезличен и добровольно отказывается от свободы. Хотя и эта последняя не в себе, а пока в свободе времени, находящейся в экстазирующей цели, которая с одной стороны порождена нуждой, потребностью, а с другой обращена не во вне, а «внутри», к покинутой нищете основания. Свобода как самоцель не может быть локальной, не в состоянии удержаться, не опрокинув себя в действительность и тем опровергнуть. Она находится во временных рамках ближайшего времени. Самое трудное воспринимать это как один и тот же процесс, — настолько не похожи начало и конец свободы, сущность и явление того же производства и бывание его превращенных форм в виде искусства, религии, философии, науки и вообще бытия чувств. И это одно действительное движение, оно же бытие и небытие, которые не требуют доказательств, как солнце (перифразируя знаменитое наполеоновское о французской республи-

ке). Смиряться не смиряться, соглашаться — не соглашаться, нравится — не нравится: не вопрос — дело вкуса, однако действовать заставит, действовать принудительно по заведомой схеме или обойдется без тебя.

Проблема оснований, начала, пока еще в обществе господства и подчинения, трансформируется в желание выработать любой ценой такие формы власти над этим процессом, чтобы установить диктатуру не только над искусством и вообще общественным и индивидуальным сознанием, но и над непосредственным чувствами и ощущениями индивида, повторюсь любой ценой. Уже не насилюя их в попытке подогнать, поработая и переделывая, а попросту создавая и штампуя. Для этого как минимум необходимо уничтожить историю и воображение, что и сделано с успехом. Всегда поражаешься, когда видишь пластиковые, дисконтные образцы современного «мышления», пусть не американского, а европейского, их одноразовости и дизайну. Оно функционально, но не чувствует историю, вращаясь в определенности простой осведомленности и количестве сомнительных фактов. Я не хочу это доказывать по простой причине: это как с религией, если человек верит, то твои аргументы впустую, если не верит, то тем более. Можно от излишней нашей удаленной, пока еще и не разучившейся чувствовать, любви, предположим к Италии или Парижу начать тельняшку на груди и орать: «Дык, как же ж наши любимые...», — и кто во что горазд: далее — длинный перечень памятных мест и имен [2].

Промышленное производство чувств, ощущений, переживаний, аффектов поставлено на поток в полном соответствии с условиями применения машин, когда универсальность всеобщей человеческой сущности, сведена к абстракции общеобязательного механического действия, в частности — потребления (истребления), которое вполне может быть заменено механизмом, действующим без человека. То, что искусство уже капитулировало — очевидно, какие бы заявления не делались его представителями и какие бы манифесты не писались. О философии речи нет. Суть только в том, что в такой бессмыслице человек, вернее то, что от него осталось выступает единственным источником прибавочной стоимости, которая без живого труда существовать не может, что только и удерживает от тотального уничтожения, но удержаться не может. Это уже избитое (и очень больно) место.

Торжественно-ликующая констатация современными идеологами, что шиллеровский лозунг «Свобода или смерть!» сменяется толерантно-конформистским «рабство или Смерть!» и призывы к тому, чтобы смириться, потому что такова суть частной собственности, вызывает обильное слюноотделение и умиление у нынешних апологетов существующего. Запугивание тоталитаризмом как альтернатива нынешнему, тоже, кстати, тоталитарному обществу, хорошая страшилка для толпы. На самом деле такой беспощадной диктатуры как

сейчас мир еще не знал. Фашизму, заполонившему все пространство удалось приспособить осознанную необходимость, так что думают и ходят строем уже по внутреннему убеждению, совершенно свободно и добровольно с лихостью и сладострастием.

Не наступившее, по вполне понятным причинам последовательное развитие основания от рабочего, через прибавочное, к свободному времени, снимающего противоречие всех времен в единстве их свершения через рабочее свободное время, прибавочное свободное время и наконец свободное свободное время, исчерпывают историю времени вообще, уходя в основание. Дальнейшее становится непосредственным становлением, восстанавливая во всей полноте и исчерпанные, а значит воплощенные и реализованные прошлое и будущее, во всей полноте освобожденного чувства, снимающего все раздробленные по предмету и чувства и ощущения, эмоции и аффекты в едином, не отличающем себя от другого в безразличии «света тёмного от глубины света». История диалектики на этом кончается, равно как искусства, эстетики, свободы и естественно разделения труда. Противоречие становится в своем чистом, незамутненном антагонизмами, антиномиями, дихотомиями, диссенсуальностями и проч. в чистой сущности. Безусловно это представляется гибелью мира рассудку, руководствующемуся «законом МакДоналдса» или, что таки да то же самое «законом Моисея» (которые так замусолены недавней французской торговой философией, что скорее напоминают скрытую рекламу). Да туда ему и дорога.

На самом деле происходит превращение, как с произведением искусства, развивающимся во времени, но не меняющем форму. Вернее форма-то как раз, являясь отношением и процессом, видоизменяется, равно как и видение, правда, не всегда в восхождении, но и в нисходящем регрессе, в бесконечность.

Здесь поступает в изменение само время как свидетельство о бывшем рождении и смерти формы. Становление становления просто переходит от основания в конечной форме наличного бытия к бесконечному движению в абсолютной, тотальной красоте. Есть еще тонкости, но кому это нужно в мире нужды (в котором парадоксальным образом воспитана нужда в нужде, без которой никакое творчество не освятится), нищеты и полной ампутации, подчеркиваю абсолютной принудительной ампутации всех чувств и заменой одноразовыми, стандартными ощущениями, с гарантией на века. Иногда страшишься нечто определенное писать, — «что могут подумать? Ведь не так поймут, хочется объяснить, входить в подробности, суетиться и дергаться», — и тут же успокаиваешься, да некому думать, мыслить, читать, незачем и некогда, да и нечем понимать. Ввиду тотальной нехватки мышления и времени.

Вообще, нехватка, дефицит времени, профицит информации, замещающий лакуны принудительный процесс — катализатор случайности, пожираю-

щей освобожденное время, не достигающее, не созревающее до свободного. Отрицательное время ведь так же приобретает онтологический статус, не давая думать, чувствовать. Все сваливают на «темп жизни». А между тем элементарное исследование покажет, что движение это — иллюзорное, и времени сводного с не-деянием, а чистым потреблением гораздо больше, чем, скажем, даже во времена Пушкина и тем более Платона. Свободного самовозрастающего (сводного с необходимым и сходного с прибавочным) времени нет — есть нерабочее и мертвое неработающее время, которое живиться собой, как падалью, заглатывая себя. По сути, время потребления — время небытия. Да и «темп» относится только к производству времени, а все остальное просто расхищение его суетой. Информация не только гормон для бройлеровского «мышления», мышечная масса которого бессмысленна и заплывает жиром, она тот электрод, вживленный в «нерв», который его заставляет сокращаться, ввергая в пароксизм «удовольствия», если хотите — в «оргазм» присвоения (или сладострастие траты, не ограниченной потребностью) как такого.

Иначе говоря: информация дезориентирует мышление, рассеивая его, поскольку сама активна, а субъект пассивен. С тем же успехом можно закачивать информацию через прямую кишку, как физиологическим раствором, но для промывки мозгов. Не супротив информации или не дай бог, не ради покушения на святая святых Сеть. Речь идет только об идеологической атаке на свободное время, которое используют не по назначению, а для получения сверхприбылей, механизм почти такой же, как в ТВ, но только многожды мощнее. Я вовсе не призываю остановить этот процесс — это невозможно, напротив, считаю, что его следует ускорить: он сам себя сожрет.

Поэтому мессианские проповеди, увещания, усовершенствования бессмысленны и даже вредны. Незачем поставлять идеи на рынок, участвуя во всеобщем групповом гвалте. Одно счастье, всё уже написано в истории, только читай, но не поймут, по самой своей сущности и принадлежности своему времени. Не поймут не потому, что образования не хватает, даже очень хватает (за горло мертвой хваткой «век волкодав»), как, скажем у современных философов, но по самому существованию и «здоровому, здоровенному образу жизни». Ограниченный переход, как возвращение самому себе — через подчинение и чинопочитание внешней необходимости удел нынешнего. «Знай своё место». «Всякому овощу своё время». «Всяк сверчок, знай свой шесток». «Всякому городу нрав и права» (все это привкус случайности, которая и есть «всяко»).

Верх полета мысли — идея возвращения, в лучшем случае к антиномиям Канта и его же чувству морального долга (естественно перед институтом собственности, а то как же), — но до этого еще следует дорасти. Все, однако, у него сводится к оправданию господствующей морали, выражающейся в свободе

произвола, преодолевающей зависимость от природы. Взрывоопасность, революционность кантовских «Критик» (вряд ли он осознавал, что сделал, хотя не след Канта воспринимать комментариями к современности, хотя на его текстах можно гадать — не ошибешься, но ушибиться можно) опускают в современной трактовке, интерпретируя, истолковывая только как поступок, подчиняющийся всеобщим предписаниям и законосообразностью, вменению, времени и свободе, понимаемой исключительно как способность, но не действительность, только как свободный произвол. А дальше все та же обывательская пошлая философия права.

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...
Такие ручки у меня,
Такое темное окошко...
Тепло и тёмно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу...
Меня давно развлечься просят,
Но эти ручки... Я влюблен
В мою морщинистую кожу...
Могу увидеть сладкий сон,
Но я себя не потревожу:
Не потревожу забытья,
Вот этих бликов на окошке...
И ручки скрещиваю я,
И так же скрещиваю ножки.
Сижу за ширмой. Здесь тепло.
Здесь кто-то есть. Не надо свечи.
Глаза бездонны, как стекло.
На ручке сморщенной — колечки.

Блок, конечно, Канта не читал, это от Владимира Соловьева наваяло, но ведь и Кант ни рья не понимал в искусстве, да и как? Что он мог знать? [3]

Он только улавливал свойственный настоящему момент перехода, изменения, пытаюсь отстрочить конец этого мира, заворачиваясь в свернутое и такое рациональное пространство. По сути, Кант был очень ограниченным человеком, по крайней мере временем (как и любой из нас, и это его нисколько не умаляет), но невольно прорвал отведенное ему, став «приложением творческих сил эпохи». (Творчество, которое как негативная форма отчуждения непременно должно избыться, поскольку и существует в элитарности только благодаря всеобщей нищете и нужде, это творчество должно исчезнуть в превраще-

нии, перестав быть плохой копией, подобием, пошлой олеографией, засиженной тараканами в дешевой гостинице «Земля» и уйти в основание. Парадоксально, но трактат Савонаролы об искусстве: «Apologetico del poetare» — «Апология творчества», по мнению А. Вольнского, свод эстетических воззрений автора представляет собой исторический прообраз тех идей, которые среди других реалий и условий идеальной жизни, с такой горячностью защищал А. Н. Толстой.)

Потому и неисчерпаемы кантовские построения, что, являясь пережитым переходным периодом, сохраняет непостижимость, но бесконечную выражаемость. Его философия растет вместе с историей и как любая другая отличается способностью вбирать в себя все предшествующее и последующее, всю «энергию заблуждения» (Шкловский), которой прибывает и переполняется история. Кантовский же тезис об «обмане обмана» спасает и его философию, делая ее непроверяемой. Да и вообще, философия не устаревает, потому, что вовремя переходит в чистую эстетику, когда истина не нужна, то есть, порождена не нуждой, а свободой, оправдывая все спокойным стоическим созерцанием красоты. Даже если ее нет, она не нуждается в доказательстве и способности суждения. Все последующее просто проваливается между противоречиями, в нужник потребности, а шум и грохот с соответствующей лексикой принимается с восторгом за новое слово в философии. В этой точке философия больше не начинается с удивления, а в прошлых и будущих ипостасях начинается, как и любая современность с непонимания и недоумения, все время оставаясь в переходном периоде, спонтанности и simultанности. (Философия не порох, не динамит, не тротил — ее революционность преувеличена — она нитроглицерин, чьи свойства одинаково хорошо известны и сердечникам и бомбистам — чуть встряхнешь взрывается, но и сердечную боль успокаивает.) Конечная бесконечность перехода подстегивается обрушиванием и гибелью, открыванием бездны сразу за пределами современности, то есть повсюду, остается только зияние разверзающегося сегодня, которое никуда не происходит, оскальзываясь и пробуксовывая на месте.

Иначе говоря, переход, который считают настоящим между прошлым и будущим своим принципиальным отсутствием прошлого и будущего представляется разрывом «здесь-сейчас», но не здесь и не сейчас.

Отсутствие, порождающее время, но либо прошлое, либо как тень и нужда прошлого — будущего.

Отношение между временами, временем не являются — только его самосознанием, вернее самосозданием. Наличное же бытие оказывается становлением, воспроизводящим себя как то-же-и-иное, не-иное, но в этом состоянии покоя обретает качества наличного бытия, взламываемого беспокойством.

По сути оно — ограниченное становление, воспроизводящее себя в одной и той же определенности и имеет такую же природу, но по форме и явлению оно — наличное бытие, в котором становление умирает от «задухи», «заморов времен, которые накрыло с головою. Здесь репродуктивная и продуктивная формы (по крайней мере, воображения) совпадают, находятся в неразличном еще-не-бытии.

Да и то сказать, воображение задержалось, потому что невостремленно и отторгнуто в себя, как ненужное, излишнее, лишнее. В этой чистой лишенности оно восстает как самодостаточное, бесосновное и неподвластное эксплуатации. Это молчание оружия, не знающего, что оно оружие и против кого оно обращено. (Так философию используют как гранату для того, чтобы колоть орешки.) Здесь молчание и невообразимость, невозможность и чистое движение. Воплощенные формы будут потом, когда наступит, именно наступит пространство и станет тесно от времен. Время еще отсутствует, как и дальнейшее — дали нет, как нет самого нет.

Нет самого начала — только истекшая бесконечность, которой уже нет. Нет. Нет. Нет. И нет. Даже остовов, затонувших в прошлом произведений, изведенных, изъязвленных, прожитых еще при жизни. Лишь достигнутое единство бытия и ничто, жизни и смерти. Единство и единственность, превышающее вечность и бесконечность и которое не знает ни что оно единое, ни как оно одиноко. Одиночество простирается в себе и обращено на себя, но в нем нет другого. Оно не внутренне, а все обращено из вне во вне, а переходом пробрасывающего обращенность является со-временность как вне-временность. Бесконечное обрушение в себя, которого нет. При этом оно безгранично, как предел всему, который пределом становится только преодолением, но даже, когда он накрыт и преодолен, остается пределом. Одиночество не себетождественно. Оно всецело случайно. В этом случае оно бы перестало быть одиноким, как я, не-я и отношения между ними. Одиночество обрело бы форму. А так, не являясь в-себе-и-для-себя, оно чистое становление, превращающее все в сплошной поток. Из никуда в никуда, из никогда в никогда. Растворяющего всякую определенность, даже эти самые никогда и никуда.

Современность, не важно, чья и какой эпохи, не может быть прозрачной. Она может быть только мутной [4].

К тому же она не нуждается в объяснении. Современность сдвоена как удар сердца, который гонит кровь развития, в прошлое и будущее. Чувство в ней остается по недосмотру. Любовь — то, что осталось от всего за вычетом всего. Горький осадок. Щемящее чувство утраты, когда уже не важно, что именно утрачено: «любовь к мудрости?», «актуальная бесконечность?» или просто сама утрата? Нельзя писать о потерях в толстых или гламурных журна-

лах, в книгах и даже в письмах, которые отсылать некому. Отрывочные мысли отрываются вместе с сердцем. Они не отрывочный календарь. Тоска как пение, но великое, словно страсти по Матфею, как пение про себя.

Искусство, если оно удается, со всей дури вгоняет осколок разбитого зеркала в это самое сердце и обламывает стекло с хрустом, оставляя осколки отражения. Искусство против человека и отставая от бытия, бьет в спину, вдогон.

Современность — без возраста. Она не соразмерна времени. Искусство не соответствует своему понятию, которое трещит по швам.

Издревле говорят: «все познается в сравнении». Это заблуждение. Блудливое оправдание старости, примиренной с природой близкой смерти, да еще и суестьящееся, указующее на некую мифическую мудрость (Вранье. Мудрость в молчании и неразглашении того, что будет. Объяснять, чтобы избавиться — главный недостаток старости.) Какое там сравнение. Все познается в несравненном! И не только по-мандельштамовски «Не сравнивай, живущий не сравним!», но и потому, что нынче время остановилось и даже в возрасте — умирать приходится молодыми. «Молодость — это возмездие!» (Ибсен). Не отсюда ли у Арсения Тарковского «И молодость вправду сказать, под старость опаснее смерти». Жаль, не отсюда. Мы все не отсюда. Мы все сюда. Туда.

Вопрос об идентификации современности в себе-тождественности, тождественности глуп до чрезвычайности тем, что пытается установить признаки и условия бытия, правила актуализации тому, что в этом не нуждается, будь то наука, искусство или просто жизнь. Указывать современности, какой ей надлежит быть, то есть остановить мгновение: «Мгновенье стой, раз-два!» все равно, что останавливать Солнце, один попробовал — скучно получилось: «И бог пошел, испуганный, как раб, и над побоищем держал светило...» (Р. М. Рильке). И тем более навязывать свое дурновкусие прошлому, объясняя его и комментируя, своими пошлыми представлениями, схожими больше на разоблачения ярких журналистов желтой прессы. То, что сохранилось в той или иной форме недостаточно для утверждения истинности происходящего. Мало ли что было. Тупая фраза «время рассудит, расставит все на свои места» говорит не в пользу времени, поскольку судит и приговаривает настоящее, сообразуясь с единственной целью самооправдания. Хорошо объяснять, прояснять, затуманивая, ретушируя, бросая тень, страшась разоблачения или хотя бы уличения в незнании.

Смешной кантовский вопрос: «Что я могу знать?» становится еще нелепее: «Нужно ли знать?». Вопрос «Что я должен делать?» сам отвечает «Ничего», и «лучшее было бы тебе не родиться, а лучшее, что ты можешь сделать — умереть». И конечно, «не надейся», надеяться не на что. Может, лучше оставаться в уютном мире душевного расстройтва эпохи, не пытаясь преодолеть страх

увидеть нечто прежде, нежели оно осуществится. Да и просто ясно видеть уже требует не только мужества, а первоначального создания этого самого мужества мышления, которое во времена классической философии достигалось простой ампутацией чувств, а ныне убереженные, но больше не создаваемые чувства, становятся едва ли не единственным достоянием человеческого. Болит до потери сознания, значит, еще живы. Объективность чувств в их нечеловеческой боли при полной бесчувственности.

Предмета исследования нет. В самом деле, философия больше не только не вправе объяснять мир, не говоря уже о переосуществлении его в практике, но и объяснять больше нечего.

Можно, конечно, заниматься классификацией распадающихся форм, типологизацией дерьма, чтобы не сказать злее, можно использовать всеобщую продажность с невозмутимым видом сожительства попутно с извращенными формами искусства, но это для сутенеров. Весь это цирк дрессированных зачуханных форм современной эстетики забавен, но производит жалкое зрелище. Ни о каком падении не может быть и речи. Ей просто некуда упасть. Да и не откуда.

Некогда некто Иосиф Бродский (лауреат нобелевской премии, что не делает ему чести и посредственный поэт) высказал остроумную сентенцию в приступе мизантропии по другому поводу: «Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. О вся эта недалновидная сволочь — Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже Люфтваффе! Снобизм? Но он лишь форма отчаяния».

То же можно сказать о современных философах, художниках, композиторах и прочих бетоном заделывающие просветы и закупорившиеся в своем чужом времени, устранив не то что возможность возвращения (нам и так некуда возвращаться) но саму возможность побега, не говоря уже о полете. Одна дана команда: *Aufschwung!* И они взлетают.

Тромбофлебит времени раздражается убийственным и угрожающим тромбом, убивающим историю уже и так находящуюся в кататонии. Как ни странно это выражается в сознательной безмозглости и искусственной эйфории, которой пытаются заглушить тревогу. Отсюда такое искусственное веселье и паранойя. (Ничего плохого в этих массовках нет, отрезвлять, осуждать, а тем паче запрещать смысла нет, а то получится, как в известном анекдоте: «От люди! Країна у скруті, а їм аби пестоці ...» Кто не знает, может услышать от меня лично.)

Настоящее, являясь разрывом, не имеет пространства, найденного в рассеянной точке взрыва, а является как сплошной бетон непроходимой пустоты.

Единственное достояние в этих рассечениях, что они в ничто создают поверхность. Это не ничто с его жизнью и создаваемой атмосферой, не предстояние, предтаяние, подтаивание и оплывание любых конфигураций, как форм

наличного бытия, так и наличного бытия ничто. А принудительное покидание-отступление, астма нынешнего, задыхающегося простора, который так и не стал таковым.

Отставая от «жизни», человек погружается в память, которая сама по себе, хоть и забывает себя, свободна от атеросклероза времени и выступает онтологическим основанием быть вообще.

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
Птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.

И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.

Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит, и пасть не может.

Давид Самойлов

Есть правда, ложная память, навязанная из-вне. Но о ней вспоминать не хочется. А вот эта, настоящая, которая куда как современнее нынешнего тягостного бывания, она не просто эстетизация юности, отпущенной на волю вязким отработанным временем, она то, что лучше всего свидетельствует, что мы живы, хотя и похоронены в братской могиле прошлого, в котором, конечно же, иначе Солнце всходило, другие цвели цветы, и вообще ваше сволочное время дрянь. Самое странное, что это не аберрации субъективного восприятия, а самое что ни на есть объективное существование чувств, когда, погружаясь в безобразную память, обретаешь невообразимую, — то есть без усилий воображения узнавание того, что было, как того что есть. Иными словами чувства — как ВСЕГДА. Они не судят, но ясно показывают, не обещают, не увещевают, но «документально» сдувают наносное, мертвое с современности, обнаруживая то, что дальше произойдет. Одно преимущество в этом, что чувства становятся необходимым и достаточным аргументом не в споре, а в желании жить — «я так чувствую, и всё» или не жить. Настоящее распадается на горсть кишащих случайных форм, в которых ты точно знаешь, что являешься современником как минимум Баха, но никак не «юного орла».

В этой размазне невозможен никакой упор, все формы характеризуются временностью, но это создает странный прецедент, неправильной и невозможной, безусловной, но не отвечающей никаким условиям, «сверхпроводимости», основанной на принципиальной бессвязности сверхтекучести случайных соотношений. Критериев истины «нет и неизвестно» (по крайней мере, практика современная таковой не является).

Время становится не только присущим, имманентным. Но само обретает субстрат, почти вещественнее доказательство в вещи, которую представляет, однако (всё «однако», как одинаково) оставаясь при этом идеальной. Здесь не разрешение противоречия идеального и реального, но его нестача, неразвитие. Современность остается в недоразвитости, как способе своей самоидентификации. Она просто тупо настаивает на том, чтобы ее оставили в покое, где она могла бы не задаваться проклятыми вопросами, а спокойно играть с бессмысленными (сиречь эстетическими) проблемами, пытаясь установить бесконечные различия (не случайно нет ни одного произведения в современной несовременной, скорее своевременной — дорога ложка к обеду — философии, скажем Делёз, Левинас, Чоран, Деррида, Рансьер, Бадью, Бурдьё... — до бесконечности, где только не мусолился тезис о различении). При этом диапазон велик до чрезвычайности и грандиозен в убогости, под стать эпохе: от «где граница между порнографией и эротикой» до различия между «современным искусством и контемпорарным», или пустопорожными рассуждениями о том, чем отличается настоящее искусство от попсы массового [5].

Ответ один: граница в промежности, между. И она постыдна. Это не противоречие живое и движущее, а нежизнеспособный гермафродит, искусственное принуждение жить в двух мирах, которые не совместимы друг с другом. Выбор между смертью и смертью. И эту границу может провести каждый, хотя на самом деле она устанавливается в принудительном новом порядке. При этом ответ не столь важен, он заведомо остается на уровне мнения, которое как индивидуальное проявление, шевеление, опять же освящено священным чувством собственности, а потому неопровержимо и неприкосновенно.

В этой попытке нарезать поток становления на дольки, кромсая его, сквозит вся беспредметность нынешнего мира, погрязшего в безразличии пустоты и потому рассматривающий этот процесс, что вполне объяснимо, для создания новой идеологии, подчиненной массовому сознанию (скажем, Лакан и живучие «семинары» это в сущности «попса», та самая «бесконечная инсталляция» «в стремлении растворить созидаемый жест в вечном возвращении собственно-исчезновения» (Бадью). Эти замашки гуру: «Я всегда говорю правду», длинная пауза, — «не всю...» Да что с того, ком-то нравится картофель фри). Собственно это простая проекция принципа частной собственности, доведенной

до абсурда, когда принцип «разделения чувственного» (Рансьер) становится «прозрачностью зла» (Бодрийяр), а «различие и повторение» (Фуко) становится не только «письмом и различием» (Деррида), но и «логикой смысла» (Делёз) и т. д. вплоть до безыскусного, но старательного Бардые с его видением различия (Не выше Аристотеля и прочих великих, но и не ниже какого ни будь «Логического словаря»). В этих безобидных и по-своему остроумных экзерсисах просматривается на просвет диктатура пустоты, устанавливаемой как политический диктат серости и усредненности. Философы, назначенные, нанятые на работу толкователей снов и рекламы и прочие пытаются переорать друг друга как брокеры на бирже, показывая изменения котировок в общем-то неподдельном раже и несомненном предчувствии увольнения. (Сосредоточенность сменяется рассредоточенностью, как при бомбёжке.) Дележ дальше невозможен, поскольку мертвееющий капитализм воспроизводит себя в одной и той же определенности ничтожности. Апофатика современности как ни-что-жество.

Можно делить только стандартную абсолютную форму производимого монотонного трупа пустоты, то есть той непроизводительной сферы издержек производства, которая формируется вне способа производства, «как будто свободное время» (имитируя его в произвольном, случайном различии, связанным с потреблением, на самом деле, даже не подозревая о его сущности, как пластический хирург, кромсая его на взвешенные ощущения, полностью подгоняя под стандарты «жизни», и напрочь забывая, что эта так называемая жизнь — простое существование отчужденной вещи, несущей смерть и вовсе не в «символическом обмене», как это хотелось бы Бодрийяру или Янкелевичу. Время при этом однообразно и размеренно. А рваный ритм его, рэг-тайм все от той же случайности перерыва постепенности, которая предсказуема колебаниями рынка истинного «куратора и функционера проекта, именуемого современное искусство»).

В самом деле, знание о... совсем не похоже на опровергающее это знание воплощение. Образ, которым спасается философия, уйдя в него как в монастырь, закукливаясь в искусственные пределы, совершенно противен дальнейшему развитию, если таковое случается, хотя ее то образ как раз в движении развертывания, а не в статике. Создавая скит теории, идея со своим уставом задерживает дальнейшее движение неминуемо опровергающее ее.

Идея вообще бессильна, пока ею не овладевает принудительная страсть, которая в свою очередь — ничто, если не имеет свободы воли. Свобода при этом не дана и воля не является фактом, а тем паче символом веры. Воля и свобода всегда недостаточна. Они ущербность бытия, и как случайные — требуют непременно внешней необходимости, как и любое тотальное одиночество, остановившееся в-себе-и-для-себя-бытии. Они ведь сами результат исторического развития: и воля, и свобода (вернее, то, что считается ею на данный пе-

риод), и одиночество, и страсть, и чувство, и... что бы то ни было, — всегда «мало ли что». Их «чтойность», «яйность», единичность, особенность современны, хотя время — лишь свидетельство их относительности и отсутствия протяженности. Это некие вторичные, несвежие времена.

Свобода, при этом по инерции, когда она являлась в результате освобождения от природы, теперь становится свободой от общественных отношений, а значит и от сущности человека. В этой достигнутой пустоте своя полнота, поскольку с одной стороны разрушаются все общественные связи, что делает человека вневременным. Но так как это не вневременность становления, то такая заброшенность составляет суть современности. Человек весь вне себя. Он весь в кажимости. Он в бреде самодостоверности. Он не-возможен и тем более не действителен, являясь чистой абстракцией.

Вот уж где раздолье для искусства, уже не ошибающегося, что смысл его в иллюзии, поскольку оно, являясь формой отчуждения, становится воплощением тотальной негации. Оно противостоит человеку уже не противоположностью и отрицательностью идеала, воплощая его (идеала и человека) нищету, но уже отказывается в раже от самого себя, оказываясь самоутверждением случайных форм и захлебываясь в этом безразличии, как куча отходов, свалкой отработанных вещей, которые в свою очередь являются овеществленным временем. Что-то вроде пустых одинаковых пластиковых бутылок. Искусство становится мгновенным и попадает случайно на глаза произвольной композицией, жертвой хорошего технического монтажа. Эстетика оправдывает это теориями, сработанными на скорую руку, не гнушаясь откровенной фальсификацией. Хождение искусства «в народ» сменяется крестовыми походами (да хоть куда) с тактикой выжженной земли и без особой цели. Набеги искусства, чтобы поразвлечься, ну а опосля, торжественное возложение венков из искусственных цветов со всеми церемониями (страсть к ритуалу у искусства в крови, если не поржать, то хоть поскорбеть всласть, ощущая власть над действием) на супрематистский гроб (горб) истории и созданием очередного мемориала самому себе.

Реальность больше не простирается. Искусство не возвышается и не возвышает человека, превращая в себя, хотя бы оказывая ему надежду как ритуальную услугу, давая как подаяние.

Искусство сладострастно унижает человека, отнимая последнее — созерцание как чувственное сознание. В слепоте оно менее узнаваемо. Время, якобы делает чувства и ощущения подлинными предметами, на самом деле — подлинным является только уничтожение их в длении. Поэтому современность не знает глубины, только длину. Отсюда желание искусства ничего не терять в утрате.

Об этом «наваляли» столько, что уже забито все пространство, не оставляя места мышлению, да и кому оно нужно. Утилитарность сама нуждается в ути-

лизации. Все заменено искаженной информацией и осведомленностью, подмененной плохими справочниками. Испытываешь чувство омерзения от перечисления бесчисленных ужасов, фактов падения и «расчлененки». Это не добрая «эстетика безобразного», а «шоу-бизнес», когда порнография обнаженных вещей доведена до обыденности и уже не замечается. Искусство и тем более эстетика нынче незаметны. Они мелькают в этой кутерьме, в этой карусели как принципиально случайные формы, чья задача поскорее согнуться и освободить место очередному разрекламированному «шедевр». Слова стоят так далеко друг от друга, что уже не читаются вместе, распадаясь на буквы, расплывающиеся и не узнающие друг друга.

И критика руководствуется вовсе не добропорядочностью, возмущенного нравственного порыва, и даже не брезгливостью, а тем же самым пустым существованием, со-временности, которое свое бесконечное начало черпает в отработанном времени вульгарного производства. Писать об этом противно и не хочется, но это единственный реальный предмет, единственное действие являющееся основанием феномена со-временности как такового. При этом трудность заключается, как уже говорилось, в том, что не ясно, следует ли знать об этом, уже зная, что мы обречены, и любые настоящие чувства, еще не опущенные до «ощущаловки», любые чистые эмоции, не сведенные к «раздражению» или условному рефлексу, уже по своему положению не истины и лживы.

С точки зрения со-временности существование не востребованного искусства или теории уже безусловное воплощение зла. Обыватель, притрушенный перхотью форм, исполняющих роль искусства, носитель банальных «истин», главный потребитель выставок, вернисажей, показов как раз и осуществляет тотальный контроль за тем, чтобы все было «пристойно», «гламурно». Он страшно сердает, если при нем дают настоящий анализ, указывая его место в отстойнике современности, а то бывало и нет, утрется и подумает, как его хорошо развели, все же что-то новенькое. Ну, для описания этих нравов, нужно писать «Наши», в духе Салтыкова-Щедрина, хотя не поможет.

Стоит ли докапываться до истины уже в бывшей науке эстетике — не стоит. Вопрос «Сколько стоит». Как уже говорилось, с критикой проблем нет, её предостаточно, но даже в лучших образцах никто не дает ответ, где выход. Все эти добрые пожелания обречены на ассимиляцию. Любое произведение, действительно талантливое будет оставаться в себе. Общество потребления на самом деле, являясь обществом нищеты, никаких потребностей не имеет, даже потребности не принадлежат потребителю, а только их отсутствие. «Ноу-хау» производства потребностей, привычек, взглядов. Протезирование. Желаниями можно манипулировать как угодно. Создается не только мода, но манера говорить, физиогномика и перистальтика. В этом случайном броуновском движении

не действуют, не то что диалектика или хотя бы рассудок, — невозможна ни критика вкуса, ни просто здравый смысл. Ведь этот мир не знает чувств, он не желает даже чувственного. Все подчинено рыночным отношениям, в том числе любые действия отрицающие рынок, поскольку тем признается его действительность, причем единственная.

А между тем механизм прост до чрезвычайности. И так же туп своей логикой господства и подчинения. Гегель ошибался в поисках диалектики отношений раба и господина. Но суть не в этом. Главное отличие от предыдущей истории ныне свихнувшейся окончательно и ставшей скверным и пошлым анекдотом, что она не превратилась вовремя в нечто иное, покинув свои пределы, изменив форму общественного богатства. Теперь ее превратили. Даже овеществление живого труда (не говоря уже об опредмечивании), которым питалось время, больше не происходит. Идеи всеупотребимы, но непотребны. Это уже не «Жизнь и смерть образа» какого-нибудь Р. Дебре. Время бесится в репродуктивной форме, которую ему навязывает производство, становясь оборотистым, чисто функциональным, возвратным. Но без свободного времени оно обретает полную предсказуемость, о которой старательно забывают. В замкнутом цикле с большой степенью оно предсказуемо, как то-же-самое.

Время, этот всеобщий эквивалент и следствие общественной формы движения материи, задохнулось и протухло в замкнутом пространстве. А то! Как говорил один герой А. П. Чехова: «Так, например, если муху посадить в табакерку, то она издохнет, вероятно, от расстройства нервов». У мертвого свободного времени свой эстетический опыт, позволяющий в отсутствие свободы довольствоваться блажью.

Если движущее и движущееся противоречие диалектики требует раздвоения единого через отрицание отрицания и борьбу единство противоположностей быть доведено до разрешения в снятии, то нынешнее амёбообразное движение просто рассекается пополам. Сущность и явление уже не диалектичны и, надо полагать, никогда не были. Явление обретает собственную сущность, являясь самоцелью а не действием живого чувства. Произвол неизбежен. У него нет критериев и градаций. Действительным является только факт самоубийства. И так до бесконечности.

Со-временность это противоположение двух ложностей, а затем по мере деления до бесконечности бесчисленного множества ложностей, мнимостей, видимостей, иллюзий среди которых комфортно чувствует себя современное искусство. Оно в критике не нуждается — только в аплодисментах. Искусство зло и самозабвенно кромсает в клочья пустоту для того, чтобы после из осколков делать некие композиции. Иллюзия создания с христианским смирением «Капричос», изображая бичевание пороков. Сплошная балаганная инсцени-

ровка искусства, где «г(ъ)мышь» — др.-рус. — *паразиты, гнус*, — сосет время и жрет пространство.

Я вовсе не пылаю праведным гневом и не давяю на жалость. Среди кровавого месива так называемого человечества в его историческом развитии очень трудно констатировать полное отсутствие надежды. Прав я или не прав, имеет ли смысл знать истину или нет — не играет никакой роли. В развитии духа столько наворочено, столько создано, что поневоле думается, куда мы прёмся со свиным рылом да в калашный ряд. Столько образцов откровений, изощренной мысли, нравственного подвига, наконец, что надо быть очень тупым, чтобы отважиться высказаться. Но поскольку истина распалась, прекратив движение на составляющие, копируя время, как будто оно и впрямь всего лишь механический прибор, собранный на конвейере и в силу ненадобности разобран на шестеренки (деконструктивисты не так уж и неправы, фиксируя этот процесс и пытаюсь сделать его осознанным), то времени больше нет. Оно даже не механично, а в протертом до черных дыр пространстве гасит последние звезды человеческих чувств. Случай властвует в причудливых, но внешних отношениях. Время — жертва перехода — транзит, проброс из покидающего прошлого в изнывающее ожидание современности, где в рассеченной открытой ране пространства времена плодятся как мухи. Главное это норма, где в этих сумерках, видя чертящий замысловатую траекторию окурков, сознательно принимают его за падающую звезду и загадывают желание — «только бы ничего не случилось» и пусть все остается «современным», как есть.

Это дает неожиданное послабление отчаявшемуся времени. На вопрос, что же делать, если так все безнадежно и безжалостно, беспечно отвечать: «Да то же, что и *всегда*» [6].

А поскольку *всегда* сосредоточено исключительно в начале современности, то и смеяться над этим, насколько возможно смеяться накануне собственной смерти, глумясь над вечностью. Одиночество дает свободу быть самим собой, и ты единственный критерий того, что делаешь. В условиях тотальной несвободы нежданно-негаданно, в заброшенности обретаешь себя как единственную достоверность. Эстетика, было подавленная обрушившимися формами и вещами, поскольку не сумела перейти от статики к динамике, мечущаяся среди столкновений, конфликтов, катастроф, влипающих друг в друга форм «социально-товарных образностей» (Рансьер), скорее несообразных и несовместимых с репрезентируемыми образами, внезапно обнаруживает свои временные основания в вечном движении, правда в отсутствие свободы оставаясь почти движением, волей направленной на себя, на волю, то есть изменением, но уже в чистом виде, а не перемещением-передвижением с места на место. (О чем говорить, если свобода по-прежнему остается в области философии

права как желаемая, но не очень, и подспудно понимается свободой «купли-продажи» отношением барина и мужика, ежели приравниваться к национальным особенностям.) Стоит остановиться, и она задохнется, а так, временно, не останавливаясь ни на миг, она в отражении схватывает свой неопределенный, но и неограниченный облик, где искусство всего менее интересно в мелькании. Вместе со случайностью она получает возможность произвольного монтажа, сродни кино, но главное — дает своим поборникам некоторую возможность двигаться и дышать в искусственной оболочке локального действия, может быть, театрального, трагического, скорее, комического, а вообще никакого, коль скоро всеобщность не снизошла. Последнее прибежище философии, если она поступок и жизнь. К тому же, тебе это абсолютно все равно, как и само абсолютное. Скучное, но все же развитие, и только развитие, причем со временем. Своего рода «жизнь-в-себе» — третий чин умопостигаемого, где эйдосы являются первовечными, предвечными, ибо впереди них сама вечность, и далее (См. Комментарии к «Пармениду» Иоанна Дамасского). Здесь есть и самодвижение, и инодвижение (термин, введенный Сирианом, как движение иным, то есть внешнее). Чувств еще нет, они являются в образе, только кажутся и видятся, и полагают свою относительную истину искусству, охотно и настырно пытающегося остаться в иллюзорности. Почти классическая кажимость — явление сущности себе и в себе, отделяющаяся видимостью — явлением кажимости другому в необходимой и достаточной чувственности и чувствительности. И этим можно бы ограничиться, с облегчением оставаясь в рамках достигнутого, утверждая вполне по-спинозовски, что это определенная природа, благодаря которой «вещь есть то, что она есть», что вечно и неизменно, и всегда должно заключаться в понятии, но искусство не вещь и хотя и не субстанция, но бесконечный атрибут. Причина, заставляющее искусство, равно как и философию, чувства и прочие превращенные формы искать гибели или превращения в основание, возвращения без остатка в субстанцию находится вне их, равно как и бесконечное движение сущности. Слабые попытки, после обретения самосознания превращенных форм самостоятельно снять отчуждение, восстать прекрасным, хотя бы иллюзорно или, что то же самое, «на время» делают их «возвратными». Однако, вторгаясь в основание с неизменной, не снятой природой они вступают в антагонизм, впадая в состояние перманентной катастрофы и бесконечной гибели, не различающей в беспамятстве ни творения, ни порождения [7].

Бунт против красоты прекрасным, самотождественным себе как вещь совершенная в своем роде, заставляет в конце концов подавлять и прекрасное как крайнее выражение господствующей идеологии все того же отчуждения, при этом цикличное время необходимости начинает собственно время делать не-

возможным, выдергивая основания предметности, что воспринимается как принципиальная бессмысленность дальнейшего развития.

Свободное время, как действительное основание и его всеобщность, направленное на преодоление природы времени вообще, производится вопреки имманентной цели производства, представляет сущность развития материи. Оно само вынужденно развиваться не только по формам движения, но и по самому времени. (Здесь начинают путать время и возраст.) То, что оно творится, а не порождается, отнюдь не вырабатывает ни способа его свободного освоения, ни свободного действия в нем, ни самодостаточного его существования. Самодеятельность свободного времени не детерминирована.

Вообще переход от причинно-следственных связей, от внешней необходимости или внутренней, от пусть даже имманентных целей, нуждающихся идеалов, трудящихся, корячащихся, страждущих и жаждущих чувств даже к основаниям свободы не предзадан и воспринимается в лучшем случае отрицательно, то есть свободное время по-прежнему, и прежним, прошлым трудом — праздное, пустое время.

Переход не происходит сам-вдруг. И чувства и способ дела, и сама суть дела, и все формальное многообразие «Welt-Ich» в духе Фихте, покидает в себя не ради инобытия другого, тоже ограниченного наличного бытия, а просто вне себя, без упряжи цели и идеала, без дышла необходимости и без понуканья нужды, тем паче некому крикнуть с облучка «Эх, залетные!» Ты один, однако, не теряя сознания, будто творя из ничего, в принципиальной незавершенности. Движение как таковое, поглощающее и включающее в полное определение своей беспредельности в предметной беспредметности и свободное время, и чувства, и движение во всей полноте. Но это не катарсис — это «амок».

Вся невыразимая мука современности в ее предельных достижениях в невозможности такого перехода, в осознанной принципиальной невозможности и, невыносимости быть свободным в одиночку, ощущая как объективную реальность весь ужас не собственных пределов, а внешних, временных, даже выйдя за которые, став не со-временным, понимать, что еще не время, хотя ты и видел иное. Переход может происходить: бесконечным отодвиганием предела; перехлестом через предел самим фактом его определения; действительным трансцендированием; снятием предела; включением его в полное определение предмета; уничтожением его; и наконец недостижением его; оставлением в покое и ре-трансцендированием, обрушением к истокам с изменением сущности все того же предела, который не монохорд, хотя такое отношение то же возможно, скажем в музыке, устанавливающей свои собственные пределы.

Да, здесь-сейчас можно преодолеть традиционную ограниченность искусства по видам, типам, стерев границы между поэзией, музыкой, философией,

живописью, пластикой, театром, кино и т. д., и, наконец, с жизнью, причем апо-
стериорно, а не априорно, хотя и не пришилавая стиплером теории отстаю-
щую бахрому рваного времени к существованию, в непосредственности опыта
и не заигравшись с образами, лицедействуя и кривляясь, а всецело, не теряя
ни сознания, ни памяти, ни самоиронии, более того переосуществив все суще-
ство. Ничего общего с интенциями, скорее это инвенция. Это не возрожденный
хаос, не хроно(а)логический беспорядок. Это требование жизни: либо универ-
сальность (не многоумение, не сумма операций) становится способом жизнеде-
ятельности как самодеятельность, либо тотальное функционирование в одно-
мерности, гибель в безмозглой механической абстракции, обладающей реаль-
ностью гильотины. Идеалы общества потребления выдаются по безналу, как
идентификационный код, как вытатуированный номер самоидентификации
в концлагере, когда за твою казнь и кремацию выставляют счет оставшимся в
живых.

И даже если это некогда независимое прекрасное освобожденного смер-
тью прошлого, то и оно вынуждено входить в настоящее и маршировать со-вре-
менность в колонну по четыре, подчиняясь новому порядку. Прекрасное обе-
зображивает бытие по причине. Но здесь преодоление прекрасного не време-
нем и возрастом, а просто игнорирование его именем красоты. Здесь не стоит
впадать ни в детальное, ни в летальное обсуждение, выходя из забвения, как
из глубины. Это не свой черед. Невозможное остается единственной возмож-
ностью и действительностью современности, где потенциальная и актуальная
бесконечность требуют непосредственности действия как жизни не знающей
пассивного начала, а только начала порождающего. Никакими трактатами о
началах (а их было предостаточно: здесь и «О началах» Оригена, и Порфи-
рия «О началах», и Дамасский «О первых началах» и т. д. до и после бесконеч-
ности) эту полынью вечности не загатить.

Со-временность, скорее, — вопрос о не-свое-временности, так же как
проблема начала совсем не проблема, а вопрос о единстве мира, которое по-
прежнему «не в бытии, а в его материальности», то есть в движении. Даже ес-
ли вслед за Кантом и вообще классической философией считать время (как ат-
рибут этого движения) чистой отрицательной формой чувственности (соответ-
ствующей внутренней форме созерцания), а пространство единством дискрет-
ности и непрерывности, исчерпанной тотальной внешностью, хотя это далеко
не так, если материальность понимать как становление, то и в этом, ограничен-
ном, но зато вполне возможном случае проблема онтологии чувств, без кото-
рых невозможно опредмечивание свободного времени и доведение его до абсо-
лютного снятия, остается становым вопросом жизни и смерти искусства,
чувств, красоты и эстетики, хотя это и не столь важно и, более того, — смыс-

лом существования так называемого человечества. Однако изобретение события — это не любовь — страх утраты бесконечности чувств. Дленье как такое: «золотистого меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго...»

Все чувства, вся история искусства, всё человеческое пребывает, таким образом, в эмпирее со-временного, оставаясь своим отсутствием. Их смысл в недоступности в бытии-возможности. Они больше не замуровываются в личном опыте в основание действия, подобно тому, как по легенде Греки замуровывали покалеченные персами скульптуры в основание Парфенона. А мы с ними переговариваемся жестами великих символических форм. Нам остается только временность, как времяемость в чистой эстетике замершего в нерешительности, заблудившегося движения. Суровая (gravitas) действительность открывшегося, что уже никогда... в смятении нежности, ярости и беззащитности. Все понимать, чувствовать иное и не в силах изменить ни идее, ни настоящему, ни настоящему, переосуществить или создать не только мир, но и себя. Единственное достоверное, что нельзя предать себя, разве что земле. Рушащееся время. Оно ведь рушится в каждом по-своему. Но так ли необходимо отречься от любви по известному принципу «так не доставайся же ты никому!» (в которой истины нет, но и в ее противоположности тоже, хотя любовь обманывает и обманывается, а нелюбовь — никогда! И это «никогда» — бесконечно!) [8], когда ты гоним свободой, освобожденной от канцерогенного прекрасного, а заодно и от доброго. Чувства в незначимости и незначительности все же впервые чувствуют свою бытийность, а не поминальность в архивных пыльных книгах не о любви.

1. «Любовь, следовательно, есть не чувство, но процесс онтологический, а именно она, в точном диалектическом смысле, есть становление, то есть взаимопронизанность бытия и инобытия», — я даже не считаю нужным сослаться на узнаваемый комментарий А. Ф. Лосева к трактатам Плотина в «Позднем эллинизме», хотя спорить можно и хотелось бы, а еще лучше взахлеб восхищаясь, именно об этом, а не печально констатировать, что все мы попали в ситуацию утонченного заката эллинизма, в гордом и скорбном недоумении вынужденного наблюдать приход тупого и вонючего нового мира, только без эллинистической культуры. И можете мне поверить, это отнюдь не новорожденное неохристианство, хотя и старое натворило предостаточно, опозорившись навеки, выродившись в предрассудок, чтобы мумифицироваться и больше не упоминаться в этой человеческой истории — только сквозь зубы, — нет, это та, замалчиваемая нисходящая ветвь в истории, которая деградировала и не оставила по себе памяти. Даже не ветвь, которая нечто органическое, а кристаллы мертвых случаев, составляющих, если бы пустыню, но просто отвалы, бытовые отходы отработанного времени, стыдливо именуемые «культурным слоем», свалка ядовитых отходов — «смерть с упованием уничтожения» (Плиний). Можно, конечно уповать, что мы — некий переходный период, а история сплошь из переходных периодов, такова ее суть — не надейтесь! абсурдность происходящего такова, что все закончится полным уничтожением, бессмысленным, как если бы взорвалось Солнце. В ожидании ка-

тастрофы философия замолкает. Если не... Поэтому заговаривание, бормотание, шутовские выходы, умственный целлюлит, дряблость (в духе Сати, очередные «три прелюдии дряблой собаки») и просто болтовня, бодро анализирующая с фрейдистскими шуточками роль и необходимость рекламы, вполне оправданы и берут на себя роль философии. Последняя философия всегда «если не...»

2. Однако никто не утверждает, что умных и гениальных людей там нет, речь об неисторичности и бесчувственности даже там, где человек этим дышит и живет, о принципиальной невозможности чувства и его мгновенности одноразовости, одновременности, которая не со-бытийна в соотношении времен, а время-в-себе без отношения, не имеющего ощущения. По себе судите, вот первый попавшийся пример: для большинства так называемых интеллектуалов Гегель «устарел» и вообще «отец фашизма» (при таком раскладе из Гоголя запросто можно сделать Гитлера и наоборот: было бы желание), Маркс — «архаика», а вся история философии — «отстой». Ну, как? Примерили на себя? Впору? Не жмет? Зато поговорим о «фракталах», о «габитусах», о дизайнерской работе Беренса, о том, в какой степени в ней нашли приложения принципы Вёркбунда. Иными словами, любое самое серьезное научное исследование становится интеллектуальной попсой по определению. Принципиальной разницы между Прокловыми «Комментариями к «Пармениду» Платона и борзым чтивом односезонной мужененавистницы, лауреате Нобелевской премии Элинек нет и не предвидится, она же несомненно круче, тем более лауреат. А нынешняя «фи!-los-софия» грозит заболтать себя насмерть, бултыхаясь в очередном жижеке, пытаюсь заглушить страх пустоты, посылает от всей души читателя «К Адорно!», «К Деррида!!» и «На Фрейда!!!», что нисколько не ослабляет эффект и динамику послания.

3. Я вовсе не пытаюсь похлопывать мыслителя по плечу или вольно с ним обращаться, куда уж мне до грамотеев вроде клоуна Славой Жижека орального, берущего горлом толпу, выдавшего в очередном опусе «Кант и Сад: идеальная пара», нечто вроде: Утверждение «Кант — это Сад» является бесконечным суждением новой этики.» Кстати, какого рожна его считают марксистом. Скорее, такие как он, Бадью и прочие выполняют социальный заказ — они вакцина и эффективная против марксизма. А то никто не понимает, что означает и сколько стоит такая раскрутка с предоставлением гонимым (тем, кто «гонит») лучших кафедр мира, в том числе и самых знаменитых на арене Парижа (если не путаю, все это происходит одновременно с фестивалями цирков). Пусть себе. По крайней мере, весело. (Сами эти пошлые и мелкие инсинуации, например, в адрес Фиделя Кастро, дескать, фамилия указывает на кастрацию революционного процесса, гнусны и пошлы, как если бы, а это делается уже, фамилия Жижека, ассоциировалась с грязнощой, с жидким стулом. Жижек слишком Жижек, но заразен как дизентерия или холерный вибрион.) Однако не называйте это философией. Это рэп. Он не предполагает обсуждение, а если и предполагает, то не детальное, а летальное, дескать мы станцуем качучу на вашей могиле или в гробу мы видели вашу философию. Когда Жижек заявляет, что его позиция находится между ненавистью к миру и полным безразличием к нему же, он скромно умалчивает о своем маленьком гешефте. Своего рода карманная сексуальная революция, дескать я имею философию. И это, между прочим, ярко выраженная, эксгибиционистская акция открытых классовых интересов, в злорадной наглой откровенности и не рядящихся в благопристойность. Не «рефлекторный жест письма» (Малларме), даже не подаренный американцами всемирный неприличный жест — рефлекторное сокращение прямой кишки «гражданского общества». Короче, «добро пожаловать в пустыню реальности».

Интерес к товарной философии дико, именно дико возрос, хотя все бросились ее хоронить. Но дело не в ней, сердешной, а в том, что отпала необходимость вообще в мышлении, сознании, в чувствах, в воображении, не говоря уже о способе дела. Какие там «законы красоты», «свобода», «чувства», хотя бы временные — «пусть рухнет весь мир, а мне чтоб чай пить». Случайность — результат десрукции, которая куда сильнее акта творения из ничего и это торжество предательства и измены человеческому вызывает трусость «героического энтузиазма», который готов на эшафот, когда «ты смерть, красна не на миру, а в совести горячей» (И. Жданов), и грудью на амбразуры, и на баррикады, но совершенно не способен быть ассенизатором и убирать дерьмо, терпеливо, беспросветно, изо дня в день, всю жизнь.

4. Никаким авангардам и новыми сорбентными течениями ей не очиститься, дай силы оправдаться, дескать время такое. Новомодный ныне Максим Кантор вполне прав, когда топчется на костях бывших ревнителей культа бунтующего искусства: «Легко найти авангардистов, зовущих к бунту. Но их не удастся отыскать на полях сражений. Дерзновенные — да, шокирующие — сколько угодно; но вот смелые ли? Простая истина состоит в том, что одни бунтовали и звали в бой, а совсем другие умирали. Мы знаем писателей и художников анти-фашистов, но они не авангардисты. С другой стороны ни Клее, ни Кандинский в сопротивлении фашизму не замечены. А Хемингуэй, да Камю, какие же они авангардисты? Десятки певцов радикальных поступков уехали в Штаты, подальше от линии фронта, и не создали ничего, что могло бы участвовать в борьбе. Почему так? Или декларации были услышаны неверно, или для призыва к борьбе и для борьбы, как таковой, требуется различные дарования. Никто из авангардистов, разумеется, отнюдь не собирался воевать с фашизмом. Бретон и Дюшан эмигрировали незамедлительно, едва запахло порохом, Танги освободился от воинской повинности и уехал в Америку, Дали там был уже давно, Дельво и Магритт жили в Швейцарии и т. д., и никто, решительно ни один радикально настроенный мастер, не подумал подкрепить свой радикализм выстрелом по врагу. Должно быть, слово “радикальность” значит нечто иное» («Учебник рисования»).

Ничего не скажешь, кроме того, что автор слабо знает историю современного искусства или пердергивает, выдавая желаемое за... Вопрос только в том, разделяет ли правдолюбивый певец истины свои убеждения? Или это «наихитрейшая хитрость» — очередной самопиар, — верно спрос на картины упал. Хочется верить в его честность, но суть в том, что уже этой книгой он работает на обывателя. Если такой смелый, чтобы тормозить мертвецов, выступи (выстрели) против тотального фашизма сегодня. Однако, похоже, и так комфортно.

5. Искусство по определению не может быть ненастоящим, или оно не искусство. Ему абсолютно все равно, что о нем думают и является ли оно искусством. Более того, по истине оно должно быть массовым. Массовым искусством должны быть и Моцарт и Шекспир и т. д. — они и есть, и без цензуры. Вопрос ведь не в количестве затрат: попса более энергоемка и технологична, к тому же требует не меньше усилий, трудового пота и «типа жизнедрам», но мы, положим, музыку меряем не децибелами, а живопись не площадями и не количеством пролитого вдохновения. Массовое — соразмерно и формально, классическое — безмерно и, по сути, не искусство, являясь выражением абсолютной красоты, по крайней мере если не чувством ее, то предчувствием. Грубо говоря, массовая «культура» просто, как мусороперерабатывающий завод, утилизирует свободное время, предназначенное для развития

человека, в тот час как действительное искусство это свободное время умножает, или хотя бы увековечивает в бесконечных и неисчерпаемых просторах конкретного человека ожидающих, хотя и опасных, смертельных. Вся эта индустрия развлечений приспособляется ко вкусам, вернее к отсутствию вкуса толпы, к потребителю и по сути ворует время жизни. Вся пошлость в том, что представители классического искусства тоже перерождаются в массовиков-затейников, выставляя себя на торги. Всеобщая продажность сжирает всё, превращая в конечный дурнопахнущий продукт.

6. Но как узнать, что делало Всегда, и делать то же? И только когда совлекаешь с себя тварность, личность, личину, и остаешься самим собой, понимаешь, что временно всегда — это ты, и главное твое дело не быть современным. Выспреним и все же срывающимся голосом искусства это не высказать. Однако здесь странным образом восстанавливается убиенная было история, приблизительно как забытый текст Элифора из «Истории искусств», читаемый Бельмондо в «Безумном Пьеро» Годара, отслеженного Рансьером и выданного мной здесь — сейчас из контекста. Это принудительное дление навязанного, инъецированного времени, впрыснутого в застывшее движение как катализатор, стимулятор и даже детонатор, в зависимости от силы воздействия. Заставить взорваться застывшую окончателность, чтобы осколочными ранениями нарушить монотонность и безнадежность искусства, — вот смысл: заставить случай продлиться, как будто длить мгновение и очарование действительности без доказательств.

7. Напомню Рассуждение Спинозы, просто ради красоты: «Творение обозначает создание вещи (quo ad essentiam existentiam simul) по сущности и существованию вместе, а порождение значит происхождение вещи лишь по существованию (qua ad existentiam solam)». Поэтому в природе нет творения, но только порождение. Применительно к порожденным формам искусства, философии, чувств и проч. Они сами стремятся стать творимыми и творящими формами, приписывая себе почти божественную сущность, поскольку в них воля не властна, но само снятие формы превращает их сущность, открывая, что она в ином и тогда они в беспамятстве бросаются к собственной гибели.

8. Любовь, это так, для нищих автохтонных чувств в ремиссии прошедшего времени. Возвращение не с «изнанки», но из достигнутого ничто назад к истокам, к покинутому основанию тем же путем, по-прежнему, вот где страшно. Чувства, лишенные предметности и внезапно самопорожденные между «еще-не» и «только-что-было». Они как вскрик в сердцах (представить буквально, как это «вскрик в сердце» и сердце взорвется) Любовь бытийна (хотя быта, даже романтического не выносит), если под быванием подразумевать становление, но не объективна, поскольку нет ни объекта ни субъекта. Одиночество бесконечной любви самой по себе, не разделенной на актуальную и потенциальную бесконечность, где нет себя, поскольку нет другого, а только предчувствие разрыва. Это не палеонтология онтологии. Онтичность чувств, которые не готовы (к ощущению) как фабричные краски. Чувства здесь не сфабрикованы, они только начинаются и растут в ожидании не «снизу» от ощущений, а наоборот, от всеобщего к единичному. Тут еще святая наивность: «Не пристраивайтесь к жизни. Ски-тайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей...» (Паустовский). Здесь открытые пространства еще только предстоят. На самом деле любовь от бесконечности к бесконечности и не дай бог, если это не так. Тогда дурман (*Datura stramonium*) времени начнет прорастать и отравлять жизнь и само время станет дряхлым. Апокалипсис (открытие)

любви, который мы имеем несчастье наблюдать на протяжении всей истории человечества и все что этой метафизической любви приписывается, в сущности это мука от нелюбви, которая только еще в начале. Пока это символ веры, восстановление, «кенозис», апокатостасис, обнищания, истощения, того, что еще не бывало. Флоренский восхищается: «Непереводимо, но выразительно эту идею Р. Гамерлинг отчеканил в формуле: любовь есть “das lebhafteste Sich-selbst-bejahen des Seins — живое себе-самому “да” бытия”». Нет. Великая метафизика любви — в бесконечной печали небытия. Она вечное несбывшееся и если не замутнена ни метафизикой, ни психологической «порчей», ни химией «ублюдочного существования», то совпадает с абсолютной красотой, выдержать которую не в силах человек предыстории. Тот, кто пытался, знает. Но никто не возвращается назад.